

18+

Роман Валерия Радомского

Я - душа Станислаф!



книга первая

Валерий Радомский

...Я – душа Станислаф!

Книга первая

«Издательские решения»

Радомский В.

...Я – душа Станислаф! Книга первая / В. Радомский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-961628-9

Литературный редактор Владимир Карпий (г. Киев): «Читателям романа Валерия Радомского „...Я — душа Станислаф!“ предстоит серьезная работа души и ума, ведь в тексте произведения закодированы величайшие экзистенциальные смыслы... Как жить в этом мире, чтобы не страдать? Чтобы в окна наших домов не заглядывала смерть? А в двери не стучалось горе. Эти вопросы ставит автор романа и даёт на них сам ответ: жизнь — это круговорот горя, боли и зла». Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-961628-9

© Радомский В.
© Издательские решения

...Я – душа Станислаф!

Книга первая

Валерий Радомский

© Валерий Радомский, 2024

ISBN 978-5-4496-1628-9 (т. 1)

ISBN 978-5-4496-1634-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Литературный редактор Владимир Карпий (г. Киев):

«Читателям романа Валерия Радомского «...Я – душа Станислаф!» предстоит серьезная работа души и ума, ведь в тексте произведения закодированы величайшие экзистенциальные смыслы. Главным из которых является проблема диалектики Зла как модуса человеческой жизни. Как механизма, приводящего в движение весь универсум (мир как целое). Как «горючего» всего сущего, происходящего с нами.

Автор принимает мир, каким он есть во всей его жестокой и несправедливой сущности, называя себя фаталистом. Человеком, верующим в предопределенность судьбы и не верующим в смысл и действенность человеческих усилий по изменению будущего, границы которого выбиты резцом Творца на Граните наших надгробных памятников.

Как жить в этом мире, чтобы не страдать? Чтобы в окна наших домов не заглядывала смерть? А в двери не стучалось горе. Эти вопросы ставит автор романа и даёт на них сам ответ: жизнь – это круговорот горя, боли и зла. И с этим тезисом трудно не согласиться, наблюдая жизнь, полную трагедий, несправедливости, унижений, нищеты, притеснений, гонений и тотальной лжи. Люди, съевшие яблоко в Эдемском саду, и познавшие свободу, добро и зло, продолжают есть эти яблоки и поныне. А свобода для человека – это возможность развиваться во всех мыслимых направлениях. Легче развиваться, катясь вниз. Поэтому зло господствует в этом мире.

Первая глава романа – это чуть ли не документальный рассказ от первого лица о хронологии умирания человека. Шестнадцатилетнего парня, единственную надежду родителей, юноши, еще по-настоящему не познавшего жизнь, не успевшего ничего сделать в этом мире ТАКОГО, чтобы судьба наказала его ТАКОЙ мучительной смертью...

Человеку невероятно трудно осознать, что единственной непреодолимой силой в этом мире является смерть. И он, и его родные и близкие – существа смертные. Поэтому проблематика зла – есть прежде всего проблема смерти. Но как понять по какому такому закону смерть, т.е. зло выбирает себе жертву? Почему его добычей становится 16-летний мальчик? И где искать справедливость в этом изначально несправедливом решении то ли судьбы, то ли Творца, то ли Дьявола. Здесь автор очень близко подталкивает читателя к проблематике Достоевского, блестяще представленной в диалоге Ивана и Алёши Карамазовых о невинно страдающих детях. «Если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Совсем непонятно, для чего должны страдать они? – задается вопро-

сом Иван Карамазов. И вывод: «Я не Бога не принимаю, я мира им созданного не принимаю...».

Автор обладает острейшим чувством внутренней жизни человека. Скрытой, внутренней жизни он придаёт значение и зримость больше, чем всем очевидной внешней реальности. И показывает смерть как акт могущества вселенского зла и его жестокого необузданного своеволия, проникшись трагическим осознанием непреодолимости зла, обреченности всего живого, доброго и светлого быть в его власти.

Но физическая смерть человека – не есть его окончательное исчезновение, его НИЧТО в универсуме. Душа умершего Станислафа попадает в пространство Вечности, где ей суждено встретиться с душами, покинувшими свои тела в один и тот же день – 23 января 2018 года. Возможность существовать в пространстве Вселенной в окружении иных душ, дает и возможность неискушенной душе Станислафа некоторым образом «догнать» те ощущения, чувствования и мысли, которые он не смог, не успел ощутить в своей короткой земной, физической жизни. Он познает восхитительные мгновения близости с женщиной, он получает возможность как бы «переписать с черновика» некоторые свои поступки, он познаёт тяжесть ответственности и начинает ощущать в себе лидерские качества, заложенные от природы, но не успевшие развиться.

Зло – всеильно. Но, как писал Николай Бердяев, не ему должно принадлежать последнее слово. И эта мысль также, хотя и не так явно, прослеживается в сюжете романа. Автор определённым образом бросает вызов христианскому учению «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром». Зло неуловимое, затаённое, неявно присутствующее во всех нас, во всем, что нас окружает. Затаившееся, выбирающее себе жертву, ждущее своего часа...».

КНИГА ПЕРВАЯ



Глава первая. Укол Дьявола

...Отец был прав: душа действительно покидает тело при жизни и способна перемещаться в пространстве и времени. Он часто говорил об этом. Постоянно при этом утверждал, что его душа – на реке Днепр, где и приобрел в собственность дом на противоположном от Новой Каховки берегу. А до этого, в 2012 году, перевёз меня и маму – мне тогда было десять лет – в город «тонкой воды». Так, насколько я знаю, можно перевести с тюркского название города Геничesk. Здесь тремя годами ранее он купил дом, буквально в ста шагах от Азовского моря. Правда, по-нашему с мамой настоянию – бирюза моря нас с мамой околдовала. Тогда мы ещё жили в Горловке, а приезжали в Геничesk в период моих школьных летних каникул. Заодно, и готовили дом к нашему переезду.

Горловка – родина моей маленькой семьи. Индустриальное гетто (по определению отца) с высокими, точно горы, терриконами посреди города. Расстояние до Донецка – сорок километров. Здесь, в Донецке, я и родился, в одной из областных клиник. В шахтёрской столице и фактическом центре Донбасса! Именно поэтому – потому, что Донбасс и судьбы людей здесь предопределены спецификой региона – отец и решил увезти меня как можно подальше от него. Он очень не хотел, чтобы я повторил его судьбу. Да и не только его одного! Окончил школу – спустился в угольную (или ртутную шахту – была там и такая). А вот надолго ли хватит здоровья и удачи – этого как раз никто не знает. Не знал и мой отец, отработав на угольной шахте им. Ленина одиннадцать лет горнорабочим очистного забоя. Остался, как он сам говорил, «без спины и здоровых ног», но не его судьба – погибнуть на глубине без малого 1000 метров. А от двенадцати его друзей-приятелей удача отвернулась: погибали по одному или по два в год. Только Горловка убивала и делала инвалидами горловчан не только из числа шахтёров. Химические производства, металлургические, машиностроение, тот же ртутный комбинат, в том числе и с открытой разработкой – это не печенье перебирать на пищевом складе!

А Геничesk влюбил в себя сразу, в том числе и моего мечтательного отца. Ведь он мечтал дожить со мной на реке. К счастью, доживать ему было ещё рано, потому и жил со мной и мамой на море. У нас был даже свой, семейный, гимн новому месту жительства. Мы пели его всякий раз, прогуливаясь пляжем. Даже тогда, когда там было полным-полно людей: «А мы на море! А мы на море! В проливе Тонком – на берегу. А мы на море с чайками в хоре волну гоняем до не могу!..»

«Это твоя душа поёт, – не уставал повторять отец. – Выходит, что она здесь. Слушай душу, сынок. Она о многом тебе расскажет. Что для тебя плохо, что для тебя хорошо?!»

После этих слов сразу же замолкал на какое-то время. Вроде, как оставался со своей душой один-на-один. Потом, беря меня за плечи и развернув к себе лицом, дикторским голосом (он в своё время успел поработать и журналистом на радио) наставлял: «Понимать себя, Станислаф, – значит, слышать душу!» А, закончив наставления, с присущим ему морализмом не только в словах, но прежде всего в его жёстком взгляде, целовал кончик моего носа. «Я люблю тебя, очень-очень люблю!» – говорил он с придыханием и прижимал меня надолго к своей всегда теплой груди.

А уж как я любил своего мало улыбающегося папулю! Только, кто в детстве думает о душе? Ведь детство – это единственная по-настоящему развивающая игрушка от самой жизни. Поэтому в детство нельзя сыграть – его проживают эмоционально и чувственно, практически бессознательно. Есть такое слово «по наитию» (как-то вычитал в толковом словаре Ожегова), вот так и проживается детство: вдохновенно.

Хотя понимал ли я уже тогда, что у меня есть душа? Да, понимал. Чувствовал ли, как радуется она или болит? Ещё как чувствовал! Даже бывало, что страдал, и не раз. Тем более, когда чуток подрос – и, что называется, с головой ринулся в горячую-прегорячую юность.

Отважно ринулся и отчаянно, потому что до десятого класса был домашним. А когда ты один ребёнок в семье, внимание и опека родителей утомляют.

Да и какой ребёнок, пресытившийся беззаботным детством, не хочет стать взрослым? Я, лично, этого очень хотел. Чтобы вкусить дары самостоятельности и полной свободы. И, желательно, как можно раньше действительного прихода взрослости! Я не просто хотел – желал этого страстно, оттого страсти точно подталкивали в спину: бери себя и иди туда, где ты проявишься в реальности таким, каким тебе хочется быть. И я это делал. По-разному было, но чаще я впадал в беспмятство, как только был предоставлен сам себе. А родители потом журили! А родители затем зывали к ответственности! И одно и то же резюме от отца: «Включай мозги! Будь ответственным!...» Ответственность – ну, кому она нравится, а вот самостоятельно принимать решения – здесь меня и хлебом не корми.

Лет с четырнадцати нравилось мне демонстрировать себя окружающему миру и управлять собой, не оглядываясь на организованных и дисциплинированных практически во всем, родителей. Уж как я любил картофельные чипсы, а сколько их съел, втихаря, под глоток холодного пива!

Конечно, не сигарета, не пиво характеризуют взрослую жизнь – эту жизнь я не знаю. Но! Рано или поздно узнаешь то, чего хочется. Мне много чего хотелось, только в этом «много» мало было того, чего хотели от меня родители, и я нарывался на их праведный гнев регулярно. А семья у меня была классная: красивая, умная. Со своими семейными принципами и ценностями. Хотя главное даже не в этом – мы по-настоящему любили, держались друг друга и стояли горой друг за друга, когда по-другому было нельзя.

Ещё до одиннадцатого класса мои друзья, а они только-только стали у меня появляться, да и, вообще, сверстники, заговаривали со мной и при мне о своём будущем. Я же не мог своё ни вообразить, ни внятно сформулировать. Хоть как не старался. Теперь я знаю почему, а тогда и не расстраивался по этому поводу. Во мне не было ни азарта, ни ненасытности воображения того, что будет, или может случиться со мной очень скоро. Главное – это время приближалось ко мне. Моё же детство, наоборот, убегало и пряталось от меня в приятных ощущениях и воспоминаниях.

Я спешил жить. Хотя никогда и ничего во мне и не говорило, что проживу я очень мало. Всего лишь шестнадцать лет, шесть месяцев и двадцать три дня билось в моей груди сердце. Но моя душа, оказывается, была готова к этому. И за два дня до смерти большого тела покинула его. Можно сказать, что катапультировалась. Как пилот из разваливающегося ещё в воздухе самолёта.

Что-то подобное произошло и со мной. И с телом, и с душой. Теперь я – душа Станислаф! Меня нельзя увидеть. Меня нельзя услышать. Живым это не дано. Но у меня есть глаза, чтобы я мог видеть души умерших людей, есть голос, чтобы их слышать и общаться с ними, есть эмоциональная рассудочность и память. А ещё во мне не одна библиотека информации. Это знания, открывшиеся мне сами по себе, как только я оказался в мире вечности человеческих душ.

Отсюда не видно Землю, здесь нет солнечного света, ветра, туманов и всего такого. Всё, что я вижу – сплошные зарницы. Пространство пульсирует ими и оттого – ни день, ни ночь, потому что оно представляется мне мозаичным полотном. Мне ещё предстоит понять смысл своего местонахождения и прочувствовать себя в нём. Пока я, то есть душа, неподвижна, хотя знаю – могу перемещаться в пространстве. Во времени – нет, так как время – это земная условность. Здесь время – твои воспоминания без проявления чувств. Кино без звука – где-то так. А сама моя земная жизнь в теле человека была лишь рождением души. Мои родители дали ей имя – Станислаф (ударение над «и»). Это имя их единственного сына. Его больше нет – он умер физически. Но я, душа Станислаф, от плоти молчаливой, зеленоглазой Лизы и характерного кареглазого Валерия, продолжаю существовать. Потому что плоть человечья, что земля, а его душа, подобно ромашке, прорастает в ней. Лепестки – души родных по крови детей. Поэтому я

есть лепесток душ моих родителей и у нас одни и те же переживания. Мамуля-папуля теперь – мои ромашки в памяти. Когда-то и они закончат свой земной путь и, как только это случится, я забуду всё.

Но это – когда-то! А сейчас их боль и страдания переполняют меня. Ведь во мне ещё так много собственных ощущений и переживаний моих последних земных дней. Все вместе – это наше семейное горе, а оно глубоко. Я чувствую эту глубину безутешности. И первыми в пучину несчастья шагнули мы с папулей...

...От Геническа до Херсона где-то 190 км. Все пять часов пути автобусом я проспал на отцовском плече. Скорее, дремал, чтобы как можно быстрее попасть в областную детскую клинику и, в конечном счёте, получить медицинское заключение, что очень плохой анализ крови – результат моей простуды. «На всё про всё» я отводил несколько дней, к тому же со мной ведь был папуля!

Его способность общаться с окружающим миром в повелительном наклонении, когда к этому вынуждали обстоятельства, открывала перед ним любые двери. Поэтому не прошло и часа, как мы с ним шагнули в фойе клиники, а меня, вытянувшегося на постели в палате гематологического отделения, уже приглашали на обед.

Дней пять я был предоставлен сам себе и медицинскому персоналу, с утра то и дело бравшему у меня разные анализы. Один в двухместной палате – вторая койка пустовала. В отделении лечились, в основном дети, ясельного и детсадовского возраста. По крайней мере ни в палатах, чистых и светлых, ни в таком же ухоженном коридоре я не увидел ни одного такого пациента, как сам: один метр восемьдесят сантиметров ростом, заметно похудевший, но ещё весивший 70 килограммов (меня измерили и взвесили в приёмном отделении), с тёмной рассыпающейся по сторонам головы шевелюрой и с простуженным, если можно так сказать, баритоном.

Именно по голосу, ещё не до конца сформировавшемуся и поэтому как бы ломающемуся на согласных звуках, меня находили медсёстры. Хотя большинство времени я проводил в своей палате, так как мой планшет работал только от сети, а мощность Интернета в отделении была небольшая. Взрослых было столько, сколько и детей – одному из родителей разрешалось быть со своим ребёнком постоянно. Что касается меня, то отец приезжал каждый день, уезжая, как только начинало темнеть, а мама всё это время оставалась дома, в Геническе. С ней я был на мобильной связи.

В понедельник, 22 декабря 2017 года, меня лифтом подняли в реанимационное отделение. Со мною были лечащие врачи. Игорь Романович и Ольга Сергеевна выглядели лет на пять или, может, на семь старше меня. Присутствовать при процедуре взятия стволовых клеток из позвоночника для них являлось обязательной нормой, а забор этих самых клеток, из моего позвоночника, сделала заведующая отделением Рима Анатольевна. Но перед этим мне что-то укололи в вену. Укололи неудачно – я так полагаю. Потому, что и больно очень было, и ощущение такое, будто мне в вену вогнали гвоздь. Я даже матерно выругался тогда, от жуткой боли. Непроизвольно конечно – само вырвалось сквозь сжавшиеся до хруста в скулах зубы. В ответ услышал, что, мол, сам виноват, так как руку не расслабил и разговариваю много. Потом мне дали подышать через маску чем-то горьким и холодным, и я отключился.

Проснулся с муторным ощущением тошноты в своём отделении, в коридоре под новогодней ёлкой, которую наряжали медсёстры. Папуля попросил не вставать сразу, но меня рвало – с его помощью я встал на ноги и, пошатываясь, направился в туалет. До вечера меня рвало ещё несколько раз и мучило всю ночь. Под утро тошнота прошла. А вот левая рука, на сгибе в локте, не просто болела, а жгла изнутри. Об этом я сказал заведующей Риме Анатольевне во время утреннего обхода. Она осмотрела место укола в вену, погладила это посиневшее место своей маленькой теплой ладонью и сказала, что до свадьбы заживёт. Её больше интересовала моя спина: место на позвоночнике, откуда взяли на анализ стволовые клетки. Как раз спина меня

совсем не беспокоила. «Вот и хорошо!» – заключила Римма Анатольевна, и уже от дверей палаты сказала лечащему врачу, Игорю Романовичу, что мазь Вишневского снимет зуд и все прочие неприятные ощущения от укола в вену. Тот, соглашаясь, кивнул головой, а спустя час, или даже меньше, в палату вошёл отец с той самой неприятно пахнувшей мазью.

Через два дня пришёл ответ из киевской специализированной больницы «Охмадет», куда поездом переправили контейнер с моими стволовыми клетками в день их забора. Об этом я узнал от отца: и что он отправил контейнер поездом на Киев, и что сегодня получен ответ-заключение. Внешне мой папуля не выглядел на свои шестьдесят – сухой, гибкий и подвижный, точно поджарый юноша, но в тот день на его лице отпечатались прожитые им годы. И таким подавленным и растерянным я никогда до этого его не видел. Несколько раз он пытался заговорить со мной, но слова не давались ему.

Наконец отец овладел собой и повернулся ко мне лицом. Я обратил внимание на его глаза. Нет, мне не показалось, что они изменили цвет. Они были по-прежнему светло-карими, но глазницы... сами глазницы – как будто сквозь тёмные очки он смотрел на меня. Услышанное пропечаталось удивлением на моем лице. ...Как? Я серьёзно болен?! Год, а то и больше, лечиться?! Папуля на это лишь кивал головой. Какое-то время мы смотрели друг на друга – его угнетала недосказанность, так как со мной он был откровенен практически во всём, а меня она томила. Наверное, понимая больше меня, он подсел ко мне, обнял за плечи и то ли сам прижался ко мне, то ли меня прижал к себе. Вроде бы и не столь важно, кто к кому прижался, но в этот момент я почувствовал, как жутко его трясёт. Его, всегда сильного и уверенного в себе.

А ещё осознал, как-то неожиданно сразу, что на моё лечение нужны будут немалые деньги. Ведь до этого не было и дня, чтобы постовые медсёстры не клали мне на тумбочку перечень необходимых лекарств или счёт за коммерческую медицинскую услугу. Как тут – год лечения? Я сказал об этом, дав этим понять, что понимаю, в каком скверном положении мы оказались. Хотел было даже повиниться за простуду – с неё-то всё и началось, но папуля, разгадав моё намерение, прикрыл ладонью мне рот и вдохнул в себя запах моих волос. Ему нравилось это делать, сколько я себя помню, как и целовать кончик моего носа. И сейчас такое его, отцовское, проявление любви и нежности являлось своевременным лекарством. Не мне даже – ему.

Когда отец покинул палату, чтобы покурить на улице, проходя мимо медсестёр на посту, попросил не говорить мне о диагнозе. Но даже тихо сказанные его грудным дикторским голосом слова, я услышал. Дождавшись появления старшей медсестры на коридоре, я позвал её. «Друзья звонили только что, – соврал я, – спрашивают, как долго лежат в гематологическом отделении?». «Старшая» тут же поведала, что на сегодняшний день в отделении лежат восемь деток с диагнозом острый лимфобластный лейкоз и что пробудут они здесь год-полтора. Ещё двое с онкологией. «Только бы выздоровели», – сочувствующе заключила она и вышла из палаты. Так, забив в планшетный поисковик «острый лимфобластный лейкоз», я узнал, что у меня рак крови. В это не верилось. Я полагал, что с моими анализами что-то напутали и очень скоро ошибку обнаружат.

На следующий день в палату чуть ли не вбежала мамуля. Я от окна шагнул ей на встречу и минуту-другую мы нежились в объятиях друг друга. Когда оба успокоились, она заявила, что теперь мы вместе. И вместе будем бороться за мое скорейшее выздоровление. В подтверждение этого её худенькое тельце сразу же засуетилось вокруг меня и всего того, что составляло мой больничный быт. Не прошло и часа, как до этого чистая и светлая палата стала по-хозяйски ухоженной. Затем, перестелив постель, она принялась за меня и мой внешний вид. Сначала – душ, потом – переодевание и всякое-такое. То есть: с собой мамуля привезла из Геническа и наш семейный повседневный уклад.

Правда, сама она внешне сильно изменилась. Её, обычно выразительные зеленоватые глаза, были тревожны. Будто в глазах замерзли слёзы, а растаять не могут из-за поселившегося в её душе страха. Перед неизвестностью. Может, поэтому и руки у неё были холодными, а губы слегка дрожали, когда она меня целовала. «Мамочка, родная и любимая, моя снежная королева, – думал я тогда, – не сегодня уже, так завтра нам сообщат, что с кровью у меня всё в порядке, и мы уедем отсюда. Заедем сначала на Днепр в Казацкое к отцу, заберём всё варенье, которое наш папуля сварил прошлым летом, а там – и в Геничеськ, на море!»

Да, так я думал, исходя из своего самочувствия в тот момент. Простуда меня больше не беспокоила. Похудел – расту, значит, ещё. Пропал аппетит – откуда ему взяться, если вокруг одни жуткие страсти и страхи?! Но ни на следующий день, ни в последующие дни об ошибке с моими анализами никто не заговаривал, а моя левая рука, на сгибе в локте, отдавала уже пульсирующей и ноющей болью.

Первые три процедуры химиотерапии я вытерпел, улыбаясь даже, хотя ощущение было таким, словно содержимым капельниц во мне что-то выпаливали. Гораздо проще было с вливанием донорской крови, плазмы и прочих лекарственных растворов. А так как в меня вливали что-то круглосуточно, я, в основном, лежал. Мобильный телефон, планшет и два тома Джека Лондона позволяли убивать время. Оно пролетало так же быстро, как и я слабел. Это я чувствовал всякий раз, когда появлялась возможность на короткое время покинуть палату. Врачи успокаивали: первые шестьдесят дней лечения по так называемому «Протоколу №1» отбирают у больного много силы – удивляться этому не нужно (потому и мамуля находилась со мной круглосуточно!), они самые трудные, но весьма важные для корректировки лечения. О корректировке лечения, опять же, я узнал из Интернета: если за эти два месяца раковых клеток в крови не станет меньше, тогда – или химиотерапия станет интенсивнее и ещё жестче, или – трансплантация стволовых клеток (от донора). На тот момент, как я понял из разговоров лечащих врачей как бы за моей спиной, у меня в крови был баланс 50/50. Поэтому я и отказался от иллюзии, что здоров, и сказал сам себе – пройду и стерплю всё, что полагается по протоколу, лишь бы только здоровых клеток в моей крови не стало меньше. Только я не знал, как и все, впрочем, что четвёртой процедуры химиотерапии у меня не будет никогда! А вот изменения в лечении меня от лейкоза ждать себя не заставили.

Моя левая рука не просто сильно распухла – жуткая боль отбирала у меня последние силы. Уже двое суток к тому же тело плавила температура за сорок, и я признался мамуле: не могу больше терпеть.

За следующие два дня в моей палате побывало десятка два врачей, которых я видел впервые. Приходили группами по три, по пять, в сопровождении Риммы Анатольевны. Каждый самостоятельно осматривал мою левую руку и уступал место возле меня своему коллеге. Потом, за дверью палаты, врачи обменивались мнениями на языке медицинских терминов. Уходили эти, в полдень приходила другая группа специалистов, к вечеру – следующая. Меня обезболивали каждые четыре часа, а на третий день, ещё до обхода, увели на обследование.

В этот день я побывал на всех этажах детской областной больницы. На каждом этаже – мрачная по моим ощущениям процедура обследования чего-то там из моих внутренних органов, а к вечеру стала известна причина непрекращающейся на протяжении двух недель боли в левой руке. Воспалительный процесс в ней вызвала жидкость в районе сгиба в локте. Сообщая об этом мне и мамуле, Римма Анатольевна недоумевала – откуда ей там взяться? А я тут же вспомнил отцовские слова, когда, проснувшись от наркоза, пожаловался на боль в руке от укола в вену: «Похоже, сынок, игла пробила твою вену насквозь и часть раствора, усыпляющего или чего-то другого, попала в мышечную ткань».

Недоумение заведующей, оставшееся без ответа, быстро ушло с её лица, так как её гораздо больше заботило другое: как теперь эту жидкость удалить из моей руки. Срочно вызванный хирург, только-только перекуривший – перед запахом крепкого табака марлевая

повязка на его лице была бессильна – озвучил довод против того, чтобы руку оперировать. При фактически никаком свертывании моей крови скальпель стал бы орудием убийства в руках любого хирурга. Этого не знали только мы с мамулей. И снова моя палата и место за её дверьми превратились в штаб по оказанию неотложной медицинской помощи. В конце концов меня усыпили, каким-то образом прокололи руку в месте скопления жидкости, после чего и начался отток этой гадости. А вечером того же дня меня экстренно подняли лифтом в реанимационное отделение, как только отец обнаружил, что я лежу в луже крови.

Тремя этажами выше я впервые утратил чувство реальности. То ли мне снилось всё то, что я принимал за неё, то ли я очень хотел, чтобы реальность была всего лишь моим сном. Как бы там ни было, но страх отыскал меня именно здесь. Эта ночь была первой ночью кошмарных видений, не объяснимых и не осознанных. Покой ушёл от меня, а его место заняла въевшаяся в мозги тревожность. Я по-настоящему испугался своего положения: из меня вытекает больная кровь и она же, минута за минутой, убивает мой организм. Хотелось домой. Так этого хотелось, что жалость к себе всё равно прорвалась в мои чувственные ощущения. Боль я ещё мог контролировать, но тревожность и страх, будто соревновались во мне, чья возьмёт! Страх оказался сильнее и больше. Оттого я заплакал навзрыд, как только увидел мамулю и папулю. И попросил их тут же забрать меня из реанимации. Папуля решил всё и за всех: в своей палате гематологического отделения я немного успокоился. Моему возвращению в отделении были рады, но с моих растрескавшихся до крови губ вслед за покоем ушла и улыбка.

Ещё неделю за мою жизнь боролись. Правда, не по «протоколу №1». Две недели назад только воспалительный, а сейчас уже и инфекционный процесс в левой руке стал необратимым и угрожающим. Химиотерапию отменили. Поэтому раковых клеток в крови становилось всё больше и больше, а иммунитет полностью утратил состояние невосприимчивости к таким вызовам и угрозам. И мои органы один за другим начали давать сбой. Медикаментозно организм удерживали в функциональном состоянии. Из смены в смену. По крайней мере пытались это делать, чем могли и как могли. Но в моих венах уже не было здоровой крови – яд растекался по телу и оно умирало. Вслух об этом никто не говорил, а я не осознавал, что дни мои сочтены. Потому что мой мозг угасал. Всё чаще я заговаривался, а недоумение на лицах вызывало во мне гнев и, одновременно, чувство вины. Мамуля всё чаще и громче молилась за моё выздоровление – всё реже я открывал глаза, и тише билось во мне сердце. Точно пряталось от инфаркта... до глубокой ночи, когда он и случился. Потом оно будто что-то кричало всем, кто имел ко мне отношение – так оно порывисто громко стало биться.

21 января (2018 г.), ближе к вечеру, прочувствовав ясность в мышлении, я позвонил папуле. Во мне вызрела решимость повыдёргивать из себя все иглы капельниц, отсоединить от себя технические устройства, контролировавшие работу внутренних органов, после чего сказать дежурной бригаде врачей и медицинских сестёр «всем спасибо», и уехать домой. На это я и попросил у него разрешения. Он мало в чём мне отказывал, если только речь не шла о моей личной безопасности и безопасности нашей семьи. Потому ждать от него согласия не приходилось. Но я поставил его в известность о своей готовности так поступить – таким он меня воспитал.

Я слушал папулю и понимал, как сильно его люблю. И как хочу быть таким, как он: богатым умом, красивым и приятным в своих поступках. И стану таким, как он! И для этого мне нужно – домой! С мамой мы покинем больницу сейчас же, после разговора по телефону. Она подчинится моему решению – мы дороги друг другу, и оба достаточно пострадали. Вот она – рядышком. Моя мамуля! Мамочка моя! Моя снежная королева Елизавета, поседевшая за один месяц. А в глубине коридора отделения, где я не мог её видеть, навсегда выплакавшая зелёный цвет глаза. Только я всё слышал. И не желаю больше быть её счастьем в её же несчастье!

Между тем папуля продолжал меня отговаривать от задуманного. Голос был тот же, а интонация мягче. Так он разговаривал со мной, когда хотел быть услышанным. Его чувства

и переживания ускоряли речь. Закрыв глаза, я представлял себе, как он сейчас непременно ходит по комнате, или машинально переходит из столовой в зал, из зала опять в столовую или в одну из спален, не давая при этом покоя рукам. «...Если ты отключишь системы, – заключил он, – сначала умрёшь ты, а после тебя – мы с мамой! Я ведь не говорил тебе, что у тебя...» Папуля и в этот раз не смог произнести «рак крови». Он попросил передать телефон мамуле. Мамуля сразу же вышла из палаты, прикрыв за собою дверь. Я с трудом оторвал тяжеленную голову от подушки, поднёс к губам кисть правой руки и зубами стал выдёргивать из неё иглы систем. Затем то же самое продел с прищепками на кончиках пальцев. Аппарат, контролировавший работу головного мозга, предательски просигналил, а до розетки было далеко. На не прекращающийся громкий пульсирующий звук в палату вбежала мамуля. Следом за ней – постовая и манипуляционная медсестры. Я был настолько слаб, что не мог оказать им сопротивление. Досада и щемящая пустота в глазах – это всё, что осталось во мне. Но и они были недолгими – мне что-то укололи и вскоре я уснул.

Что я спал, и очень долго, мне сказала мамуля. Её лица я не видел, хотя по голосу она была совсем рядом. У меня было такое ощущение, что теперь щемящая пустота вытекает из моих глаз кровью. Меня это удивило, но не испугало. Я потянулся правой рукой к глазам, но мамуля умоляюще попросила этого не делать. «Этой ночью у тебя было кровоизлияние в мозг, – сообщила она, целуя мои пальцы. – Господь не дал тебе умереть и это хороший знак. Ты справишься. Ты выздоровеешь – ты сильный! Не трогай свои глазки, сына, тебе лучше их пока не видеть». Потом я снова стал видеть. И осознавать, где я нахожусь. Сразу же вернулось желание прошлого вечера – хочу домой! А ощущение, что мои глаза всё же кровоточат, только усиливалось. Вроде с кровью из меня вытекали и мои страхи, переживания и видения.

Своей левой руки я не чувствовал уже несколько дней. Она точно вросла в простыню, обозначив своё окончательное и непререкаемое местоположение окровавленными бинтами. Никто её уже не беспокоил перевязками. Из прокола в районе локтя обильно сочилось то, что я не мог ни видеть, ни, тем более, определить. Но по запаху – мамуля удерживала мою голову в положении, чтобы меня не рвало, и периодически давала дышать кислородом.

Звонящий сумрак привычно заполнял палату. Моей последней реальностью было лицо мамули в оправе сбившихся волос. Она всматривалась в меня, будто что-то ещё не рассмотрела. А, может быть, этим взглядом она цеплялась за жизнь в несчастье, но со мной. «Куда ты, сына, туда и я!» – повторяла она одно и то же. Мне же хотелось чего-то приятного и бодрящего. Я сказал мамуле: «Когда мы вернёмся домой, ты купишь мне пива и разрешишь выпить его в нашей столовой. За столом, где обычно сидит наш папуля. Он разрешит – я знаю. Это место хозяина в доме он ведь бережёт для меня». Мамуля шумно согласилась. И даже улыбнулась – первый раз за столько дней! Горячие слёзы, наконец-то, растопили холод её глаз. Их цвет стал зелёным, искрящимся. Я в последний раз испытал восторг от того, что моё маленькое чудо свершилось: мамины глаза вернули мне цвет моей земной реальности. Как будто она знала, что именно я хочу ещё раз увидеть и прочувствовать.

Не пройдет и минуты, как ясность сознания покинет меня навсегда и произвольно сомкнутся мои почерневшие веки. Мамулю испугает моё дыхание – дежурный врач первым делом зажжёт в палате свет. Потом приоткроет мне веки и отдернет голову так, что это заметят все. Ознакомившись с показаниями работы моих внутренних органов за последний час, ещё раз подойдёт ко мне. Сожмёт легонько плечо, снова приоткроет веки, подождёт чего-то, не отрывая взгляда от плеча. Дождётся того, чего ждал, и шустро шагнёт в проём двери, укаывая жестом руки – все за мной. Медсестры выйдут из палаты, но будет слышно, с коридора, как одна из них скажет, что Римме Анатольевне уже позвонили – она ждёт...

Мамуля станет тихонько разговаривать со мной. Это поможет ей заговорить страх. Он настигал её всякий раз, когда я молчал. А в этот раз было иначе: её взбудрили и даже чуточку

развеселили мои слова, как вдруг я смолк, не договорив. Веки сомкнулись, рот остался открытым, а вместо слов – только хрип из груди.

Я так и не сказал мамуле главное: что благодарен ей за подаренную мне жизнь. Прожил мало и оттого несправедливо по отношению к ней, но – в счастливой и внимательной ко мне семье. А какое яркое и богатое на приятные события было детство! А школьные годы! Вкусил даже юность – «сладкую как в зиму боярышник!». Это из стихов папули. Он и в этом прав: сладкая пора юность. Жаль: только вкусил – понравилось! Меня любили и дорожили мной. И я – любил, и даже был влюблен. Она приходила в школу ещё в белых шёлковых бантах, но меня волновала по-взрослому. Краснела, вжимала в плечики светлую головку, когда я подходил к ней на перемене и заговаривал с ней, а у самого, без пяти минут выпускника, дрожали голос и колени. Она не успела вырасти, а я не успел ей сказать, что буду этого ждать. И мамуле не успел сказать важные слова, и для неё, и для меня. И с папулей в последний раз говорил не о том.

Мамуля осторожно и нежно целовала мои глаза и так же, осторожно и нежно, гладила руку, которая никогда больше не сможет её обнять. Как и другая рука, левая, в которую месяц назад всадил иглу не иначе, как сам Дьявол. И не щемящая пустота в глазах кровоточила и вытекала – это я, душа Станислаф, покидал своё земное обречённое на смерть тело. С прошлой ночи, когда начался процесс разрушения сосудов головного мозга. В последний момент он-то и вбросил в меня память, воображение и много чего ещё из комплекса познавательных способностей и психических функций. Человеческий мозг – это предтеча формирования души.

Теперь я стоял рядом с мамулей – мог стоять, мог присесть, мог пойти, куда захочу, но душевные стенания родителей были и моими. Нам, всем троим, было плохо, как никогда до этого. Во мне не было физической боли тела. Оно лежало на постели переполненной медицинской грелкой из ещё живой плоти. Системы вливали в неё растворы, но в венах уже не было здоровой крови. И сердце будто задышалось, и поэтому разбивало грудь. Она выглядела неестественно выпуклой и широкой. Такой же большой был и живот, а ноги растворили в себе колени и стопы. Мальчишеская голова с высоким лбом и сбившимися тёмными волосами проявлялась на белой подушке, вместе с тем маленькой-маленькой. В действительности она не была такой, да только она одна не утратила своей изначальной формы. И прямой нос, широкий в переносице, стал острее, как на морозе. И губы утратили цвет юношеской страсти. А глаза, ... глаза теперь принадлежали мне – тело онемело и ослепло.

Мамуля тем временем молилась, утирая то и дело слёзы, не замечая мгновенного потемнения на коже, как только к этому месту прикасались её ладонь или пальцы. Ночь за окном и слабый свет с коридора скрывали от неё и синеву с желтыми краями, появляющуюся там же через несколько минут. Её красавец-сын, единственное настоящее счастье матери, ненадолго уснул, и никакого другого объяснения его полной неподвижности она не допускала. Я не мог ей ничего сказать – родные души способны лишь чувствовать одна другую, но мамуля любила, страдая в надежде, и ничего кроме этого ей не нужно было.

Заведующая отделением Римма Анатольевна, мои лечащие врачи – Ольга Сергеевна и Игорь Романович, со следами беспокойной ночи на лицах, застали мамулю в том же положении: склонившейся над моим телом и удерживающей над лицом кислородную маску. «Станислаф спит», – заверила она их сразу же, будто боялась, что у кого-то из них иное мнение. Римма Анатольевна, нервно разминая пальцы, ответила: «Пусть поспит». Врачи, зная, что это не так, а моё тело пребывает в коматозном состоянии, на тот момент ещё не решили, как об этом сказать. Переглянулись и вышли.

Ольга Сергеевна тут же направилась в ординаторскую, чтобы не расплакаться на коридоре. Игорь Романович шагнул к выходу из отделения – скорее, побыстрее закурить, чем за чем-то ещё.

Римма Анатольевна осталась одна. Посылая к чёрту гуманизм, но и перекрестившись заодно, она было уже коснулась рукой двери палаты, чтобы объяснить мамуле, в каком сне, с медицинской точки зрения, пребывает сейчас её сын. Не смогла вернуться. Мать внутри неё самой оказалась сильнее и категоричнее заведующей отделением. Отошла от двери, сделала несколько шагов вглубь коридора, к следующей палате, и остановилась – её больные детки-конфетки ещё спят, так как нет и шести утра.

На коридоре заведующая была одна – так ей только казалось. Хотя могло ли быть для неё иначе? Присев на диван, она по-мужски широко расставила ноги и заговорила сама с собой. Сначала корила себя непонятно за что, а после, маленькими кулачками ударяя себя по коленям, взывала к Станислафу: «Как же так, мальчик?! Ты ведь обещал помочь мне тебя вылечить. Ну что пошло не так? Ведь сколько таких мы поставили на ноги?! Неужели причиной всему – твой возраст: уже не ребёнок, но даже и не молодой мужчина. ...Да, прекрасный возраст, но только не для лейкоза!..»

С той самой минуты, когда Римма Анатольевна произнесла: «Уже не ребенок, но даже и не молодой мужчина», предположение моего папули о пробитой вене в левой руке таковым и осталось. И для меня, и для него.

От Автора.

«Если и был укол Дьявола, то его сделала рука человека. И сделал он это непреднамеренно», – скажет отец Станислафа сам себе, проведя последнюю ночь с сыном. Как и Римме Анатольевне, ему тоже будет казаться, что его никто не слышит (совсем выбившаяся из сил Елизавета уснёт). А душа Станислаф положит голову ему на плечо и будет слушать. О Боге, который не помог, а он ведь так просил его заступиться за сына. Умолял забрать его жизнь взамен сыновней жизни. Честно признавался, что не верит в его существование, но просит о милости – значит, решение за Богом: он есть и всемогущ или его нет.

Фаталист с тридцати лет, Валерий Радомский задавался принципиальным для него вопросом: чьей судьбой, его или сына, предначертаны переживаемые второй месяц сумасшедшие боль и страдания? Если его, тогда он и есть та самая рука Дьявола. Так как дал сыну жизнь не осознанно, получая удовольствие от молодого тела. Узнав же от Лизы о беременности и её непреклонном решении рожать без его согласия и претензий к нему в будущем, он не взял возлюбленную на руки, не закружил и не зацеловал в порыве благодарной нежности. Оттого она исчезла из его жизни. И родила Станислафа не в Горловке, а в Донецке, в больнице им. Калинина. Этим, что он родился, озадачит Светлана Александровна, мама Лизы, к слову – на пять лет младше самого Валерия Николаевича, но порядочность и обязательность уважающего себя мужчины возьмёт в нём верх: вызовет такси и примчится к своему сыну. Не к его маме, нет, а к сыну, и день за днём, год за годом будет доказывать свою верность, преданность и отцовскую любовь. И Лизу он полюбит тоже, только по-своему: как старший возрастом на двадцать шесть лет!..

Судьба, предопределенность событий в жизни, была для него религией. Потому, сопоставив факты, выходило на то, что Станислафу не суждено было прожить больше. Думая об этом – а Николаевич то разговаривал сам с собой, то через глубокий-глубокий вдох переносил монолог внутрь себя, поближе к сердцу – просил его, чтобы оно остановилось за мгновение до остановки сердца сына. Склонившись над его изуродованным болезнью телом и вглядываясь в зияющие чернотой глазницы – а вдруг: «Привет, папуля!» услышит вместо булькающего хрипа, он знал что так вызывающе свирепо разрывало дыхание. Потому как видел это «что» в его глазах ещё до отъезда в Херсон. Тогда, дома, он чуть было не лишился

чувств, заметив в открытом взгляде Станислафа угрожающий блеск непонятого, но явного. А выйдя из автобуса в Новой Каховке, размять ноги и покурить, тот улыбался, успокаивая и себя тоже: всё обойдется, но его обнаженные нижние зубы скалились. Не показалось – уже нет, вскрикнет тогда про себя несчастный отец, и с тех пор мысль о скорой смерти сына его не покидала. И к этому всё шло: знакомые и незнакомые люди помогли деньгами, проблема с донорской кровью решилась за один день, волонтерские организации оперативно подвезли часть необходимых лекарств, а какие-то, из необходимых, были в отделении; не потеряв и часа приступили к химиотерапии, как вдруг – воспалительный процесс в левой руке, ничем не сбиваемая температура, и лечение по протоколу №1 приостановили. Вынужденно и временно. Да только кубик-рубик судьбы сына сложился не его любимым зеленым цветом. Такого цвета в кубике не было.

...А мамуля: как же с её судьбой?! Ведь, как сама не раз признавалась, наблюдавшие её врачи, осторожно, но целенаправленно, готовили юную Лизу к тому, что высока вероятность бесплодия. Но годами позже она встретила сорокасемилетнего Николаевича – чудо свершилось! Она родила мальчика с двумя порезами от скальпеля на лбу ближе к правому виску – при кесаревом сечении такое бывает. «Шрамы мужчину украшают!» – так извинялась перед сыном счастливая мама и с превеликим удовольствием целовала эти две тонкие и ровные полоски.

Поздний рассвет нового январского дня, двадцать третьего, застанет маленькую семью тонушей в горе. Лизу – в постели, давно для неё ставшей костром беспокойного сна, Николаевича – на табурете, больше похожим на тумбочку без дверей. Душа Станислаф будет гладить мамыны волосы, а слабый утренний свет в окне лишь чуточку подрисует на стекле узоры морозной ночи. Они заблестят и обретут выразительность форм. Формы по-прежнему борющегося за жизнь тела спрячет простыня – под утро слёзы уже выжигали отцу глаза, – простыня при каждом шумном и порывистым вдохом будет дыбиться саваном, и что хуже – этого он уже не мог постичь.

Когда проснётся Лиза и, взяв полотенце, выйдет из палаты, войдёт простуженный врач-реаниматолог, ждавший за дверьми палаты этого момента. Извинится за горькую правду и сообщит Николаевичу – это всё! «Сильный характер у вашего парня, – поделится он своими наблюдениями, чтобы сочувствие в грубом голосе не было воспринято как преждевременное соболезнование. – Я это понял, когда его доставили к нам с кровотечением. Отваги в нём не на одну жизнь. Но ...пора, папаша – простите! Пора ему снова к нам. Не надо, что бы это случилось при вас...»

Реаниматолог уйдёт. Николаевич зажмёт себе рот, чтобы не закричать. Его сердце забьётся так сильно и быстро, что даже дышать станет больно. И душа Станислаф тоже прочувствует эту боль. Глубокая – ни постичь, ни унять! Вернётся Лиза. Станет легонько прикладывать влажное полотенце к лицу сына, скажет в тысячный, а то и в стотысячный раз: «Сына, ты справишься. Ты же помнишь: куда – ты, туда – и я!» Николаевич, всё ещё прикрывая ладонью рот, так и не дожждётся того, чего ждал от сердца несчастного отца. Оно не перестанет биться, только каждый удар станет для него мукой и наказанием.

Тело Станислафа подымут лифтом на шестой этаж. Простуженный реаниматолог примет его и поможет уложить на кровать. Отойдёт к окну, наглухо задёрнутому тёмно-синей шторой и, наблюдая за тем, как такую же, почти, цветом юношескую плоть накроет паутина из проводов, трубочек аппаратов, стимулирующих и поддерживающих угасающую в ней жизнь, скажет: «Здесь случались чудеса, парень! Видит Бог, я – свидетель. Стань ещё одним чудом, пожалуйста, стань, и живи!» Но чуда

не случится. Отжившее свою земную жизнь тело Станислафа Радомского умрёт в тот же день, 23 января 2018 года, в 16 часов 23 минуты.

Ничто не изменит своей сущности – у всего такого свои предназначения и исходы, никто не услышит звуки, слова, музыку и песни земной тишины Станислафа – человека, сына, гражданина. Только – его душа, тремя этажами ниже. Где ожидание, по сути – ничто, вытеснит, выдавит, вытолкает из родителей мешающее им ждать, став подобным льду: холодным и горячим, прочным и хрупким, скользким и липким, прозрачным и непроницаемым. Оттого и глаза их во взгляде будут неопределенными в выражении.

А тем временем в душе, покинувшей тело, звенел голос из детства Станислафа: «Ой, догоню-догоню сейчас! Ой, зацелую-зацелую, Станика!», и душа Станислаф видел, как он, белобрысый карапуз, падает в высокую густую траву, переворачивается, кряхтя, на спину и закрывает от мамочки ладошками своё розовощёкое личико; из-за разошедшихся и крашенных-перекрашенных дверей класса Горловской музыкальной школы №1 доносились звуки фортепиано. «До» -«ре» -«ми» -фа“-», соль“-», ля“-», си“ вторил им детский голос, а голос взрослый, не строгий, но требовательный, наставлял: „Это не «си», Станислав, не «си»! Ну, когда же ты запомнишь, малыш?! Сквозняк с протяжным скрипом открывает дверь – малыш, в чёрном костюмчике, убирает ручонки с клавиш и, покачивая головой – ай-ай-ай, по-доброму произносит: «А Вы, Роза Львовна, когда запомните, что меня зовут не Станислав-в-в, а Ста-ни-слаф-ф-ф! И ударение – на „и“!»; из радиоприемника донесётся певческий лирический в интонациях баритон отца: «День добрый, уважаемые радиослушатели. В эфире „Радио Горловки“. У микрофона – редактор Валерий Радомский. Информационный выпуск начну с личного сообщения. Уверен, что буду понят правильно и всеми. Я далеко не стар, но и уже не молод, и меня, наконец-то, отыскало настоящее мужское счастье. Друзья мои, я по-настоящему счастлив: у меня родился сын!..» Голос растроганного папули утонет в накатывающейся волнами музыкальной композиции рок-группы «Ария», из груди солиста Валерия Кипелова проникновенно прольётся: «Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, и я свободен..., ...Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне..., ...Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра...» Ах, как же Станислафу близко было то, о чём пел солист «Ария», и как пел. Может, он предугадал свою земную судьбу? Конечно-конечно, лишь в какой-то мере, но теперь он действительно свободен от того, что устояло в веках в универсальном понятии «бытие».

Так слушая себя в забвении Станислафа, я едва буду попевать за папулей, когда его пригласят к заведующей отделением. И надолго после известия о моей физической смерти они, вместе с Риммой Анатольевной, еще и озадачат себя тем, как об этом сказать мамуле. Её слова «Куда – ты, сына, туда – и я!» обяжут его, отрешенного и обессиленного до темноты в глазах, отыскать слова и, главное, момент для печального откровения. И только поздно вечером крошечная, нежная и беспомощная мамуля с едой и чистой одеждой для сына присоединится к ним. Ноздри уловят запах нашатыря, отыщут на столе заведующей заполненный желтоватой жидкостью шприц со стремительным блеском иглы, услышит стонущий шаг папули ей навстречу и всё поймет. Попросит ничего ей не делать, заверит в силах самостоятельно справиться с тем, о чём не хочет даже слышать, одним лишь жестом: выдвигая ладонь вперед, запрокидывая голову назад и выдыхая при этом из себя слабость, чтобы первый её вдох в несчастье стал необходимой силой. «Я хочу его увидеть!» – скажет она, дрожа всем телом, и ничто и никто

не сможет ей в этом помешать. А утром, после пустой ночи от бессмысленности того, чем и кем жила, тот первый вдох в несчастье продемонстрирует её и волевой характер: сама помоем моё тело, наденет на него коричневый костюм, белую рубашку и повяжет мой любимый галстук. Папули на самом деле, бирюзово-серый, но ставший моим давно. Поможет также приехавшим из Геническа работникам похоронной службы занести в салон микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» гроб, вишнёво-коричневый и излишне блестящий, укроет зеленоватым шёлком тело, и не выйдет из салона до приезда в Город тонкой воды.

Я снова был дома. Иметь дом – это здорово! Зима по-своему перекрасила стены с улицы и прибралась в маленьком дворике. А внутри – холод, порядок и аккуратность во всём.

Гроб внесли в мою комнату и без суеты разметили на диване под моим портретом, сделанном на компьютере. Фотомонтаж со смыслом: на голове корона, на меня одеты рыцарские латы, в руке меч, и надпись ниже: «За Родину! За Станислафа!». Так я однажды, совсем ребёнком, прокричал, играя в «войнушку» – эти слова и стали девизом нашей семьи. Символично? Может, и так. Скорее, даже так. Ещё и потому, что и в моём рождении, и в смерти моего тела также были символы. Знаменья чего – этого я не знаю, тем не менее – я родился в Донецке, хотя прожил двенадцать лет в Горловке, четыре с половиной года прожил в Геническе, однако же, почему-то, тело моё умрёт в Херсоне?!

Уточнив у папули время на завтрашний день – когда гроб нужно будет вынести во двор, ритуальщики попрощались и вышли. И сразу же вошли соседи. Супруги Галина Дмитриевна и Василий Маркович, одногодки папули, дядя Саша – младше лет на десять. Говорили лишь их взгляды и дыхание. Особенность момента сковывала неловкостью их движения. Потому и слова соболезнования они будто бы нечаянно роняли на ладони мамуле, касаясь их в приветствии.

Ровный безмятежный голос с улицы привлёк внимание – пришла тётя Люба, подруга мамули. Уже с порога посыпались её наставления: что нужно сделать сейчас, до похорон, что не забыть сделать завтра. Это твердо поставило всех на ноги. Василий Маркович, глубоко натянув на голову с остатками седых волос шерстяную шапку, тут же за чем-то отправился. Дядя Саша отрапортовал о готовности могилы и похоронной команды, которую он возглавил, не задумываясь. И не только из-за сострадания горю людей, с которыми он едва толком познакомился, а ещё и потому, что моря и океаны – его духовная стихия – отобрали, взамен, семейные радости и даже невзгоды. Умер отец (годами ранее мама) – вернулся в отчий дом, без семьи – не создал. А всё потому, что желание дышать океанскими просторами перевесило всё прочее. Между рейсами в механике торгового судна просыпалось желание жениться и в семейной гавани наконец-то бросить якорь, да надежда на это всегда была крайне осторожной, оттого и не категоричной. А моя, то есть моего тела, преждевременная смерть и вовсе стала откровением: дети ведь тоже умирают раньше срока! И это потрясло до малодушия: никаких детей!

Дядя Саша и папуля вышли из дома – нужно было очистить от снега площадку на входе в дом, где завтра установят гроб для прощания и отпевания. Я последовал за ними, но у меня были свои планы...

Ровно год тому назад, на районной олимпиаде по химии, я познакомился с Катей. Это знакомство – нас представили друг другу, так как мы были из одной школы – не стало формальностью потому, что имело продолжение. В тот день ей, семикласснице, исполнилось тринадцать лет, о чём и сообщила председатель комиссии перед тем, как выдать участникам задания. Я же решил блеснуть ещё одним своим талантом – чтеца – и, как только Катя привстала со своего места, взял, легонько и бережно, её под локоток, дождался, когда наступит полная тишина, и произнёс:

– Когда-нибудь в кругу знакомых лиц,
А может быть, случайных – суть не в этом,
Печаль моя надсадным криком птиц

Тебе напомнит обо мне. И ветром
Желание ворвётся в твой покой —
Желание увидеть, прикоснуться
К губам твоим, униженным тоской,
Не смеющим надежде улыбнуться.
Не покидай гостей – побудь с Судьбой...
Коль есть вино – налей! Секрет свиданий
Не выдавай, и потанцуй со мной
Под музыку своих воспоминаний...

Не знаю, почему именно это стихотворение папули я тогда прочитал Кате. Но я его так прочитал, ...так проникновенно прочитал, что и сам смутился. Ещё и потому, что никогда ранее прикосновение к девчонке не доставляло мне такого удовольствия. Я тогда продолжал удерживать локоток Кати, а по моему телу растекалось тепло. Да что там растекалось – меня им окатило с ног до головы. Можно сказать, что я и примёрз к ней, и меня приварили сварочным аппаратом. И она не торопилась отойти от меня. Так мы и стояли друг перед другом, будто наконец-то встретились. Даже дыхание, казалось, у нас одно на двоих: она выдыхала – я вдыхал, я выдыхал – она вдыхала. И от этого воздух был непривычно сладким.

С тех самых не иначе волшебных минут школа стала для нас и местом свиданий. Катя робела от своего возраста, от одежды с детской символикой, её смущал и стеснял в эмоциях мой рост, громкий напористый голос, вид современно одетого молодого человека. Но сама уже в том возрасте имела такие девичьи формы и сияние в голубовато-серых глазах, что на неё засматривались и пацаны в школе, и взрослые парни на улице. Это меня бесило, и я страшно её ревновал. Опять же, говоря словами моего папули, кто сказал, что ревновать глупо? А любить?!

Вне школы мы встречались редко и втайне от Катиных родителей. Знали они о наших коротких свиданиях на пляже или нет – не знаю. Да и узнали бы, а что бы нам сделали? Ничего. Мы росли, чувства наши крепились – вот такая она, моя история по-настоящему чувственного влечения подростка к девочке.

...От дома я направился к пляжу. Меня влекло туда чувство той самой первой влюбленности. Оно было не только моим – его мне подарила Катя, и сегодня оно должно остаться с ней. Как пророчески сказал мой папуля: в музыке её воспоминаний. И она не задует сегодня свою четырнадцатую свечу на праздничном торте – будет искать уединение и найдёт его там, где мы не по-детски взволновано, наблюдали, как бирюза моря на горизонте целовалась с небом. Мне так хотелось тогда быть морской волной или небом, и вот – я волна подо льдом, небо, зашторенное падающим снегом, только Катя – горизонт нашей разлуки навсегда. И пусть даже так, но почему я решил, что море целовалось с небом? Почему не с горизонтом, и небо – тоже с ним?! Конечно, всё это метафоры от подражания своему папуле, хотя и разлука может быть дорога. И я это чувствовал сейчас, значит, так и будет: я поцелую Катю в первый и последний раз, чтобы пророчество стихов, прочитанных мной год назад, стали для неё очевидностью.

Катя знала, что меня уже нет в её земной реальности – ей сказал об этом отец, водитель микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter». Обнимая и прижимаясь к мамуле в салоне, я слышал их разговор, когда он ответил ей по телефону – везу умершего вчера в Херсоне, от рака крови, юношу с твоей школы и его родителей и что свои поздравления он скажет ей дома, так как для этого сейчас совсем не подходящее время. Я узнал папу Кати ещё во дворе больницы, когда с другими мужчинами из ритуальной службы он заносил моё тело в салон. Тогда гроб был открыт, но он меня не узнал. Болезнь пролила на моё лицо неузнаваемость, а так он бы, конечно, вспомнил меня. Пожалуй, я был первым претендентом на сердце его дочери, не уступивший его отцовской воле. ...Когда мы с Катей возвращались с олимпиады – а наши дома были в одной стороне, его-то мы и встретили. Сблизившись, он сказал, что его дочери ещё рано ходить с кавалерами, на что я ему ответил – я не кавалер, а Станислаф, учащийся 11-

А класса, член школьной команды. При этом первым подал ему руку, а он, смутившись, или только сделав вид, что смущен, ответил на мой жест и пропустил нас вперёд. А сопроводив нас к своему дому, юркнул за калитку, бросив через плечо – только недолго!

Чувство не обмануло меня – Катя уединилась на пляже, прячась от настырного ледяного ветра за металлическим киоском.

Я подошёл к ней так близко, так решительно и с таким нетерпением, что нас сразу же окутал густой-густой туман, а снег пролился дождём. И это был летний дождь в январе, как и тогда, прошлым летом: когда с пирса мы любовались зарёй, зависшей над морем, а небо неожиданно расплакалось. Может быть, от счастья, которое мы проживали в эти минуты вместе, может, и от несчастья – небо знало, что наш первый закат станет для нас и последним.

Туман упал Кате в ноги, клубился во все стороны от моего волнения, а снег стремительно таял вокруг неё. Она не была напугана тем, что наблюдала. И даже не удивлена. Только приподняла руки, подставив ладони дождю, и по-прежнему всматривалась вдаль. Теперь этой далью был я. Она дышала порывисто, со стоном, но даже такое её дыхание мне было приятно и дорого. Было страшно и ужасно от того, что я сейчас представлял собой в земной реальности. Приведение – это в лучшем случае, а влюбленное ничто – в худшем. Да и не целовался я ни с кем – не успел. Но завтра меня не станет, и я, желая и боясь одинаково сильно, коснулся её губ моросью, порывом ветра сорвал с головы капюшон и обнял. В запахе её светлых волос было что-то родное до боли, а в откровении глаз печаль лишь усиливала эту боль. Но что есть моя боль, если сам становишься болью для дорогого тебе человека!? И этот человек – не моя уже земная Катя, не моя, но ещё в моих объятиях, какими есть всего лишь влажный клубящийся туман! Зацелованная стаявшими снежинками она разомкнула губы и наконец вдохнула от меня чувство, какое я сберёг для неё, несмотря ни на что. Я обязан был отдать его ей, чтобы моя мальчишеская любовь не томила бесконечно от неприкаянности, и чтобы она, Катя Григневич, была желанна и любима в её земной жизни, как желал и любил её я. Но я отдал ей не только своё чувство.

Две или три весны кряду на кончике моего носа, с правой стороны, чётко проявлялось пигментное пятнышко светло-коричневого цвета. Родинок на моём теле было много, но это пятнышко всякий раз исчезало, когда я вспоминал о нём, разглядывая себя в зеркале. Как-то, разыскав Катю во время школьной перемены, я заговорил с ней о приближающемся дне 8 марта, давая понять наводящими вопросам, что хочу сделать ей подарок. Такое вот не совсем признание в своих чувствах, да всё же зарумянило ей щёки и участило дыхание. Я даже забеспокоился – сейчас уйдёт, как случалось до этого не раз, и скажет и не раздражённо, и не с сожалением, что она ещё маленькая. Но так не случилось: оставив в покое серебристую косу, с привычно вплетенным в неё густо синим бантом, Катя, сначала, успокоила меня улыбкой, а затем ответила вполне серьёзно – так мне показалось, – что хотела бы в подарок это моё пигментное пятнышко. И придавила пальчиком то место на своём лице, где хотела его видеть: над верхней губой с правой стороны. Такое у меня было впервые – я вспомнил о своём пятнышке и – увидел его в зеркальце Кати. С тех пор оно стало как бы нашим, общим, и больше не исчезло. И только что, поцеловав Катю в то самое место – над верхней губой, я пометил её своей любовью. Первой! Единственной! Несчастной, но не безответной!

Катя не знала, и знать не могла, что так внезапно успокоило её сердце. Оно забилось ровно, будто до этого торопилось за чем-то, а это что-то – на губах: ощущение морозящей и приятно прохладной нежности. Она не понимала, откуда оно и почему, сейчас, когда её, девочку, душили первые женские слёзы. Но не могла и не хотела отказать себе в том, что ощущала. Когда-то она этого втайне желала, стыдясь своего возраста, но не выразительных форм женственности, а теперь хотела ещё и ещё этой завораживающей нежности на своих губах. Губы плавил огонь, но он не сжигал. Только всё проникал и проникал в неё откуда-то сверху, и она потянулась к нему, оторвавшись пятками от песка, чувствуя при этом, как что-то беспо-

койное удерживает её, дрожащую отчего-то, в таком, устремленном к чему-то неподвластному объяснению, положении тела. И ничто её не напугало. Ни летний дождь в мороз, ни осенняя морось, ни шальный весенний ветер. И ей не кажется – нет, не причудилось, что она слышит ломающийся в интонациях голос. Она влюбилась в него раньше, чем в того, кому он принадлежал. Только голос был внутри неё самой, потому Катя читала сама себе стихи, которые никогда до этого не слышала:

«Я уйду. Ты не смотри мне вслед —
Твой взгляд, как руки, ляжет мне на плечи.
Любимая моя, так будет легче
Расстаться нам на перекрёстке лет.
Года мои умчались – не догнать
И не вернуть их – время не стреножишь.
Нам остается только вспоминать
Всё то, что ты забыть не сможешь...»

Вдруг туман рассеялся, снова повалил жёсткий снег, а настырный ветер с моря, точно ледяной водой окатил с ног до головы. Мгновенный контраст температур сбил Кате дыхание. Нежность ощущений схлынула так же внезапно, как минутой ранее всё вокруг неё закружилось, пролилось, заморосило и выпалило снег до песка. Осознание случившегося наконец-то испугало. Озираясь по сторонам и при этом прикрывая ладонями губы, будто стыдясь за то, что эти губы прочувствовали, она громко и горько зарыдала. Не отошла – отбежала от киоска. Я видел это, но сам уже уходил от неё, так же торопливо, как и она от бирюзы во льду, окрашенного снегом горизонта и жестяного неба. Уходил без моего чувства, которое мне больше не принадлежало. Я, душа Станислаф, в первый и в последний раз простался со своей земной любовью, повторяя как заклинание поэтические строки своего проницательного папули:

«Любимая моя, я уйду.
Не позвала ведь в свой январь игривый...
Но, видит Бог, я был с тобой счастливый,
Если разлукой даже дорожу!»

От Автора.

Катя вернётся домой нескоро. Впервые она позволит сама себе, и решится на это, брести холодными и сумрачными улицами страдающей и плачущей. Её путь – полёт голубки над местом, где её сизокрылый голубь навсегда сложил крылья: она несколько раз подойдет к дому Станислафа, но постучать в дверь, назвать себя и попросить разрешения проститься с тем, кто ей дорог и любим, на это детской любви не хватит.

Зимние сумерки лягут Кате на плечи вместе с ладонями её отца. Они уйдут, никого не потревожив. И тревога в печали уйдёт вместе с ними напряженным молчанием.

В тёплой, уютной, но затенённой комнате Катю будут ждать четырнадцать свечей на торте и подарки. Свечи сгорят произвольно, так как мама и её дочь, именинница и красавица, проплачут в соседней комнате до позднего вечера, утешая одна другую. Целуя дочь и желая ей доброй и спокойной ночи, мама заметит над её верхней губой, с правой стороны, светло-коричневое пятнышко. Она коснётся его пальцами, чтобы убрать с лица то, что это пятнышко представляло собой на самом деле, да чем больше она усердствовала в этом, тем пятнышко становилось темнее и выразительнее. Удивлённая и обескураженная скажет об этом Кате, та тут же бросится к зеркалу – закричит, то ли в ужасе, то ли от чудовищной догадки: «Это был он! Мама, он приходил..., приходил, чтобы проститься!...»

Она уснёт лишь под утро. А до этого запишет в своём личном дневнике: «24 января 2018 года. Сегодня, на пляже, я целовалась с Чудом! Я не сошла с ума, но это был Станислаф Радомский, хотя он вчера умер. Он оставил в память о себе знак – только он знал о моём желании иметь родинку на лице».

Катя проживёт большую и, в основном, благополучную жизнь. Разобьёт не одно мужское сердце, но замуж выйдет не по любви. Родинка от Станислафа, эта романтическая деталь её внешнего очарования, на протяжении всей жизни будет понята ею, и принята, как символическая густая и коричневая точка в конце короткой личной чувственной трагедии. А между тем человеческое тело, как и спичечный коробок, выполняет свою задачу раньше последней сгоревшей спички. Только тело не выбрасывают и не ищут ему какое-то другое применение, а отдают земле. А душа – это живой огонь. Божья искра, как обычно говорят. Потому никогда не гаснет – пламенеет вечностью. И в этой вечности человеческих душ Катя встретится со Станислафом, и родинка на её лице, над верхней губой с правой стороны, обретёт-таки значение нескончаемой Любви!

Вернувшись в дом, я застал мамулю и папулю в разных комнатах. Каждый по-своему переживал мою физическую смерть. Может, горе и объединяет, но не в нашем случае – я это чувствовал. Они сопротивлялись этому, оттого встречаясь у гроба, попив кофе или покурив, обнимали и прижимали один другого в обоюдном желании хотя бы ещё на несколько минут стать снова единым целым. Вместе плакали, оплакивали, сетовали, но по-разному любили друг друга. Поэтому папуля не мамулю мою обнимал и прижимал к себе – свою любовь ко мне в ней. И от этого было очень больно: как и в случае с Катей, эту боль привнёс в их теперешнюю жизнь я. Завтра я покину земной мир, а их любовь ко мне станет непомерной и невыносимой.

До утра я просидел у гроба. Когда сам, когда с родителями. Маму переполнял страх предстоящего погребения того, кто навсегда покинет её земное завтра. Отец покаялся передо мной, с тяжёлым сердцем рассказав о том, что в его жизни были две смерти, которым он не то что бы был рад, но и не ощутил сожаления. Наоборот, ему даже дышать стало легче. Только до сегодняшнего дня тошно от себя такого. В этом облегчении через само собой разрешившиеся проблемы отсутствует человеколюбие и сострадание, а совесть и стыд, если они есть, не дадут покоя всё равно. Сейчас он понял, что смерть приходит не столько за человеком, умертвляя его, сколько за жизнями родных и близких ему людей, а чьё-то бессердечие помогает ему в этом. Пришла за одним – ушла с несколькими. Пока ничего этого нет в его маленькой семье, да он дважды, выходит, помог смерти торжествовать...

Процедура отпевания батюшкой, которому в реальности не было и тридцати лет, была нудной и утомительной ещё и от капризного мороза и такого же ветра, то и дело задувавшего свечи и обжигавшего собравшихся стаявшим воском.

Прощание у школы я не видел – ушёл от траурной процессии раньше, чем она туда подошла. Знаю лишь, что моё тело не показали никому. Зачем? Зачем видеть знавшим меня ретушь смерти на моём лице?! Подлинность меня, если можно так сказать, не нуждалась в её искусной мазне. Правильнее – если я останусь в памяти таким, каким меня знали и запомнили, а не ужасом увиденного. Ушёл же я от школы потому, что в последний раз увидеть своих одноклассников и преподавателей перед тем, как отправиться в Вечность – это и наказание для души за взаимность чувствований. Они мои, и я их прожил.

На кладбище, в селе Красное, что на берегу озера Сиваш, гроб с моим телом опустили в могилу. Перед этим вконец измученный страданиями папуля попытался что-то сказать обо мне напоследок, но мамуля простонала, что мне холодно – папуля первым бросил три горсти земли в могилу. На погребении присутствовали только соседи, оттого тело отдали земле быстро и без суеты. И настал момент, когда холмик над могилой обрёл форму кладбищенского

места захоронения и памяти об усопшем. Памяти без радости, а воспоминаний с болью. Под единственным знаком проявления человеческих чувств – кому он был дорог и кем был любим: печали. Эта печаль не подвластна утешению никем и ничем. Но я – душа Станислаф – жив ведь?! Жив! Жив! Жив! И мне так же нетерпимо больно, как и моей мамуле, в моей синей осенней куртке – она её греет и сейчас, в январский мороз на ветру. Она в моей подростковой шапке, на её шее – мой коричневый шарф. Она вдыхает ещё мой запах – отобрать у неё эти вещи, и она задохнется от морозной свежести.

Папуля стоял на коленях и выл волком, истекающим кровью. Он не проклинал судьбу – просил о милосердии: добить его шальным камнем, свинцом неба, чем ей угодно, но оставить его здесь, рядом с сыном. Я метался от папули к мамуле, от мамы к папуле, понимая, что это наши последние земные минуты кровного родства. Целовал им руки и просил у них прощения. Запинаясь и сбиваясь на крик отчаяния, признавался в сыновней любви и верности, даже в мальчишеских обидах и провинностях. Они меня не слышали потому, как не могли, но я должен, обязан был им об этом сказать. И я говорил, не умолкая, так как всё: кем был и что я сделал и прочувствовал на Земле, останется здесь же. В памяти людей, кого я знал и не знал, в сердцах моих родителей. Ещё минута-другая и глаза мои – это всё, что не тленно в теле Станислафа, – закроет Вечность, забрав меня, его душу, к себе.

Папуля продолжал стоять на коленях перед могилой и голосил, когда мамулю соседка Галина Дмитриевна и подруга Люба повели, под руки, в микроавтобус. Своё последнее земное время мне хотелось провести с родителями, но их личные переживания развели их, к моему сожалению, по сторонам. Я стоял, где-то, в центре этой дистанции. На свеженаброшенный холмик над могилой падал густой и горький, точно дым, снег, из-за кладбищенской ограды Сиваш, весь в белом, веял ледяным холодом... Это последнее, земное, что я видел.

Глава вторая. В лабиринтах Вечности

Вечность человеческих душ – это пространство, заполненное их сияниями. Сияний так много, что проще ответить на вопрос «А сколько же их?», сравнением с земным ночным небом: так много, как звёзд. Сияния разные по цвету и своим оттенкам, они перемещаются, накладываются одно на другое и неподвижны. Пространство многомерное и многоуровневое. Я нахожусь на уровне земного светового дня, от рассвета до заката, 23 января 2018 года. Здесь все умершие в этот период.

Рассматривать и вглядываться в Вечность моими глазами – значит, созерцать радужную безмятежность. Не покой, оказывается, очищает душу – безмятежность. Это новое качество в человеке, благодаря которому возникает новый взгляд на сущее: земная суета теряет власть над душой и обретает форму истин с единственным смыслом: взирать на мир и принимать его таким, каким он есть. Безмятежность Вечности не нуждается в опыте земного проживания, попавшая сюда душа наделяется безмятежностью изначально. Потому мириады сияний приятны взору. Это, если взирать на Вечность. А находится в ней, по ощущениям – упасть с ночного неба в рассвет при уме и памяти. И хотя подобное трудно себе представить, это так. Но реальность Вечности и сурова: ты – всё и ничто!

Душа не обезличена в том, кому она принадлежала на Земле. Во мне внешность Станислафа на протяжении им прожитых лет и дней, его эмоциональный и прагматичный ум и память. Вот это и есть условное «всё», а «ничто» – во мне больше нет противоречий самому себе, я – чувственный лист Вселенских истин. Они прописаны во мне, но так сложны в понимании, что не буду даже пытаться их сформулировать.

Моё настоящее в Вечности обусловлено тем, что есть я, душа Станислаф, и это мной осознается, но моё будущее – путь в бесконечность совершенства души человека. На этом пути души сгорают, являя собой ничто в земном понимании, но не во Вселенском, или, одухотворяя биологическое живое, становятся снова активной формой его существования. Ничто ста-

нет материалом Вселенной для создания чего-то ей нужного и разнообразия себя, а вот душа человека будет эволюционировать во благо осознающего себя живым.

Замечу, что Вечность, как по мне, не оригинальна – человек многое уже разгадал в ней, зафиксировал и озвучил. А всё потому, что человеческие боги в их сердцах и душах живут в качестве прорицателей, и не более того. Бог – это сам человек, только не знает об этом наверняка. Он подобен очеловеченному Иисусу Христу и не случайно поэтому в нём человек воссоздал теорию эволюции души, возведя в степень, понимаемую как совершенство. Однако, как сам же знает и принимает за аксиому, у совершенства нет ни ограничений, ни пределов.

Когда-то я стану кем-то, живым, в земной реальности, но не чем-то во Вселенной, если не сторю в лабиринтах Вечности, не приняв её откровение: не всё можно понять и постичь, но земная жизнь ко многому обяжет прикоснуться сердцем, совестью, честью и даже лбом – в косяк! Где-то так. Значит – вперёд, исключительно осмысленно. Значит, я должен оставаться инициативным и амбициозным, а таким был Станислаф-человек, и не закрывать перед собой ни щели, ни двери, ни что бы это ни было перед представившимися возможностями покидать Вечность. Эта дорога предопределена возвращением с тем, что по земной осторожности и стечению обстоятельств Станислаф не получил в полной мере как познание. Ведь человеку предстоит заполнить Вселенную сознанием и чувствами – он единственный и уникальный носитель способностей души.

Без души человек – зверь, да почему-то человек звереет душой. Для меня, сейчас, всё просто: земное живое, не осознающее себя, эволюционирует, только не наравне с человеком. Но человек не избежит, сначала, конкуренции с живым миром планеты Земля, а в дальнейшем и жесточайших войн за доминирование над живым и уже себя осознающим. И чем больше земного он берёт исключительно для себя, тем быстрее инстинкты и рефлексy включают механизм сознания в тех видах живого, что стоят к нему ближе в ряду способных логически и творчески мыслить. Человек, охотник и банальный убийца, сам непреднамеренно осуществит отбор таких видов. Здесь уместна аналогия: всё, что не убивает, делает нас сильнее. Однако сила земная не есть сила Вселенной, предполагающая земное «нас» в единственном значении – живое!

Закономерен вопрос: мне, всего-то, шестнадцать лет, шесть месяцев и двадцать три земных дня?.. Я уже говорил: во мне не одна библиотека знаний, открывшихся мне в Вечности. И такие же библиотеки – в каждом пульсирующем сиянии душ, какие мне видны и интересны.

Цвета и оттенки отображают состояние душ в определённый момент, но, как я успел уже подметить, душа в состоянии неподвижности обозначает себя одним чётким цветом. Моя ассоциация – детские шары в прозрачном земном небе, но их так много, что прозрачность условна. А что не есть условностью, так это – личное пространство каждой души внутри шара. Оно заполнено всем тем, что я могу, к примеру, чувствовать, видеть, слышать и осмысливать. Каждое моё видение, чувство и мысль – оттенок, как бы сказали на Земле, титульного цвета. Отсюда и зарницы вокруг меня в цветах радуги, но нет раскатов грома или чего-то ещё.

В Вечности тихо. Хотя, как и в любой другой душе, во мне нет этой тишины безмятежности. Мои глаза закрыты, я – сияние, в основном зелёного цвета, и поглощен своими чувствованиями или брожу где-то воображением, глаза открыты – готов к общению с другими душами. Пока что ни одна душа не проявила ко мне интерес, только я знаю – когда это случится, увижу чьи-то глаза напротив своих глаз и только за мной решение, хочу или не хочу общаться. Если захочу или посчитаю для себя нужным, тогда наши личные пространства станут относительным целым и мы, души, предстанем одна перед другой в виде тех, кому обязаны своей вечностью.

Для такого случая я пребываю в образе Станислафа, отмерявшего на асфальте размерность и предсказуемость его последней осени широкими, увлекающими за собой отца, шагами. Элегантно и со вкусом одетые они направлялись в школу на торжественную линейку, после

окончания которой – первоклассники сядут впервые за школьные парты, а Станислаф переступит порог школы в ранге выпускника.

Отец – во всём черном: костюм, рубашка, туфли, лишь серебристо-серый галстук и к тому же удачно контрастировавший на таком фоне. Станислаф – высокий ростом, не менее метра восьмидесяти, уже выше отца, и стремительный. Коротко остриженный, но с тёмной шевелюрой блестящих на солнце волос, впереди рассыпавшихся на лоб и виски. У него волевой, слегка вытянутый вниз подбородок, широкий в переносице не маленький и не большой нос – соразмерный голове и телу, чтобы смотреться красивым и обаятельным юношей с открытым взглядом. В этот раз он предпочёл комбинированный стиль: тёмно-синий пиджак с овальными коричневыми накладками на локтях, в нарядной рубашке, светлее пиджака, и, опять же, с коричневым воротником, в джинсах и туфлях из мягкой тёмно-синей замши. Он и сам себе нравился, ещё и потому, что месяцем ранее, проработав в аквапарке инструктором, сам заработал на эти обновки деньги. Оттого его карие глаза казались светлее обычного от уважения к себе, а радость в них ликовала.

Таким я и предстану перед душами, кто захочет со мной познакомиться и узнать мою земную историю. Я откроюсь этой душе, она откроется мне. Мы проживём в Вечности свои земные воспоминания вместе ещё раз. Вечность избавляет души от физической боли тела, а их чувствования оставляет прежними. Без чувственной мысли в лабиринте сразу сгоришь. В этом, в чувственном мышлении душ, резоны Вселенной.

Насколько я уже понял из истин Вселенной, люди не знают, какие они на самом деле, и борьба с собой понимается ими, как борьба за себя. Вселенная признает и принимает такую их земную позицию, так как во вселенской сущности живой разумной материи, они проживают детство человечества. Разумен человек не потому, что осознает себя, а потому, что выработал в себе потребность согласования в душе своих чувствований с рассудочностью. «Коль сердце и разум затеяли спор, не жди ты от них добра – любовь отгорит, как в поле костер, едва дотянув до утра!..». Опять же, где-то так.

Объединяясь, души расширяют личное пространство каждой души, но оно становится и их общим, без согласования, типа: «Можно войти?» При этом страсти, чередуясь, образуют комбинацию общей страстности, чувства – такой же чувственности, а память воспроизводит хранящиеся в сознании впечатления, земной опыт и практики событий. Так эмоциональный разум открывшихся друг другу душ непроизвольно строит лабиринты Вечности. Лабиринт воображаем каждой душой – что приятней взору и удобней для его прохождения. Войти в него можно одному, или же – войти вместе с кем-то, даже группой душ. Но только тогда, когда душа будет готова к возвращению на Землю.

На уровне, на котором нахожусь я, может быть только два лабиринта. Прохождение первого предполагает рождение человека с душой из Вечности, в которой нет противоречий себе самой. То есть она безмятежна во всём земном, но Вселенной именно для таких душ предусмотрена задача: приблизить, насколько это возможно, земную реальность к вселенской безмятежности. Только и земная реальность способна упростить душу до душонки – эпитет мой, если я правильно толкую что-то из истин. Зачем это Вселенной, приблизить, таких и подобных вопросов во мне нет, потому – не знаю. Знаю – риск сгореть в этом лабиринте и превратиться в лунную пыль или молекулу металлического водорода на Сатурне так же велик, как желание и соблазн прожить ещё одну человеческую жизнь.

Второй лабиринт предполагает осознание несовершенства души, или как прописано в истинах – «Безволие чувствований лишает власти управлять живым во благо!..», и предусматривает задачу иного плана: приблизить беспокойную примитивную душу к земной реальности, чтобы она научилась выживать, а значит – обезопасить тело. «Живое выживает, чтобы жить в теле, какое не вечно и не постоянно!» – это одна из истин Вселенной, какую проще понять, чем запомнить. Риск сгореть нулевой, да проблема в том, что из числа живого исклю-

чѐн человек, а разнообразие живых организмов, их видов, населяющих Землю, достигает более 2 миллионов. И это судьба, как сказал бы отец Станислафа.

Станислаф не любил рисковать, поэтому я, его душа, и решил строить второй лабиринт. Не став ждать чьей-то заинтересованности во мне, сам отправился в пространство Вечности, избрав в качестве ориентира для знакомств мягко зелёные сияния. Не знаю, почему именно этот цвет мне нравился больше всех остальных, да было в нём что-то от меня, земного, что я, правда, и не пытался осмыслить ранее. И сейчас этот цвет привлекал и манил, и я допускал, что рано или поздно получу ответ, почему – зелёный?!

Первой душой, открывшейся мне, был малаец Нордин с острова Реданг, что в Южно-Китайском море. Я был не первым гостем, вошедшим в его воображаемый земной мир, но лазурно-зелёные просторы прозрачной глади простирались так далеко, что мне стало понятно – душа малайца, моего первого знакомого в Вечности, ни с кем ещё не объединила своё личное пространство.

Нордин сидел на белом песке и, не отрывая глаз от того, что ему, наверное, хотелось видеть в серебристой лазури моря, жестом правой руки как бы говорил мне: «Проходи – присядь рядом!» У него была сутулая спина, смуглая кожа, а длинные худые ноги, расставленные по сторонам, казались ещё длиннее от коротких шортов парусинного цвета.

Я подошёл, присел рядом и не спешил заглянуть ему в лицо. Он сам повернулся ко мне – не больше сорока лет, темные курчавые волосы, маленькие юркие глаза, тонкие синеватые губы с уголками, опущенными вниз. И такой же, синеватый, шрам на впалой щеке.

– Ты хочешь услышать, как я здесь оказался? – спросил Нордин и вроде как сам же и ответил: – Утонул и умер!

Я не смог бы проговорить эти его слова, но я понял смысл им сказанного. Может, так Вечность перевела слова малайца, может, я их сам так перевёл, наделённый ею даром знать теперь незнакомые мне языки.

– Но я вернусь, юноша, и ты мне в этом поможешь! – спокойно, но с обидой в голосе добавил Нордин. – Ты же за этим ко мне пришёл: не сгореть и вернуться на Землю? ... Черепахой-бисса или зелёной черепахой, барракудой, скатом, китовой акулой? Да хотя бы тигровым морским ежом – этого ты хочешь, юный мачо?..

Моя голова проделала что-то невероятное: и согласилась кивком вниз, и возразила стремительными движениями по сторонам. Я растерялся под натиском жесткого взгляда своего собеседника, хотя сам не произнёс ещё ни слова. И эмоциональный напор, и парализующий волю взгляд были мне хорошо знакомы – отец Станислафа говорил и смотрел также, только гораздо жёстче, когда ему самому было горько и стыдно за сына. В общем-то – ничего такого: Станислаф-человек всегда терялся, тупился и корил себя за то, что не должен был делать, но уже это сделал, а его отец, моралист, был последователен и настойчив в воспитании.

– ...Нет или да?! – спросил Нордин. – Хотя, о чём это я? Чем ты можешь помочь, если мне больно на тебя смотреть. Ты ведь так молод! – усложнил сомнениями свой вопрос и откинулся на песок спиной, заложив под голову руки. – Сколько тебе, ...шестнадцать, семнадцать? ...Так я сразу и подумал: лет семнадцать, не больше. Давай, давай – расскажи ты, кто или что тебя сюда... Да не смотри ты на меня так, – рассказывай!

Я рассказывал, а Нордин слушал, глядя ладонями песок. Мой рассказ был недолгим. Малаец оторвал спину от песка, демонстрируя всем своим видом, что ожидал большего. Пошарив глазками впереди себя, потянулся к камешку, взял его в руку, подбросил два раза и запустил в море. Камешек только звонко булькнул.

– А у тебя и так не получится, – мрачно бросил он в мою сторону, не поворачивая головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.